В ПОЛЕ

Ивана поразило несходство волка с овчаркой.

Василий Шукшин, «Волки!»

Тома смотрела в окно и тревожилась. Сверху, из розоватых мартовских небес, уже нависали первые облачка заката, а идти было километров семь. Ей все хотелось остановить брата, его дочку и ее жениха, чтоб не ходили они через поле на ночь глядя, лучше переночевали бы здесь, у нее, в тепле и довольстве, а утром шли и навещали сколько угодно многочисленных родственников в соседнем селе, в Волчьем. За окном, по сырой, еще не схваченной вечерним морозцем прошлогодней траве, вылезающей щетинистыми клоками из-под корок льда, бегала взад и вперед непоседливая Тайга, полугодка немецкой овчарки. Она встретилась с Томой глазами и смешно наклонила голову. Тома словно прочла в глазах ее предупреждение, звонко запричитала:

– Куда вы пойдете, Степа? Ты глянь, и Марья холодно одета у тебя. А жених ее – так совсем как на велосипеде кататься собрался. Вы о чем думали-то, вырядились? Тут семь километров пути. Да по сугробам! Там же поле, не асфальт…

Степан, ее старший брат, фронтовик, передовик и самый лихой гармонист у себя на селе, осушил в гостях у сестры, которой привел показать жениха своей Марьюшки, уже порядочно кружек медовухи, и переубедить его не удалось бы даже если поле, по которому он собрался срезать до соседнего села, горело бы пламенем.

Он скоморошничал:

– Ой, да что ты, Томка! Всю войну не пропадала наша! А теперь уж и подавно тепло нам и славно. Эх, так твою меть-метель! Сам божечка нас проводит!

С этими словами он принялся наяривать на невидимой гармошке, колотя морщинистыми пальцами по узорам истертого своего свитерка, озорно и пьяно глядя на всех по очереди.

Марья знала нравы и вспыльчивость отца, но момент был серьезный –   
идти далеко, дороги там нет, одни овраги да поле, под ногами талый снег. «Март-марток – надевай трое порток», – вспомнила Марья материнскую пословицу.

Марья робко, но с нажимом попыталась убедить отца:

– Папа, послушай тетю Тому. Давай тут, в тепле переночуем. А прямо с самого утра – и в путь, пожалуйста…

Отец в момент прекратил кривляться с невидимой гармошкой. Он будто прилепил ее себе на лоб, собрав глубокие борозды в кучу:

– Я тебе пожалуйста! Я тебе сейчас пожалуйста! Есть двадцать лет, она мне будет пожалуйста, будто я сам не знаю и вчера родился…

Решили ему больше не перечить. В моменты, когда отец был неправ, все, кому так казалось, представляли его бегущим с гранатой наперевес, мокрого от пота и дождя, еле живого, но несущегося вперед с занесенной дрожащей рукой. Где после таких картин с ним спорить? Да и кому? Ей, молоденькой пухленькой Марье с розоватыми щечками? Нет. Придется идти.

Жених Марьи, Валентин, было приподнялся, чтобы вступиться за невесту, но та с тихим остервенением глянула на него, мол, не лезь. Валентин все понял и тяжело опустился на стул.

Прощались недолго. Степан все хохотал и рассыпал по сеням прибаутки, задев ногой ведро – оно звякнуло, и Тома занервничала еще больше, но ничего не сказала. Заскрипели двери террасы, и холодный воздух, окрашенный в розовое, принял гостей Томы к себе в гости. На пороге расцеловались, обменялись прощаньями. Маленькая Тайга все путалась в ногах, домогаясь ласки и внимания, беззвучно ударяя хвостом по широкой черной штанине Валентина.

Тома с минуту стояла на улице, глядя в облитые розовым небеса.

Марья шла, и сердце ее радовалось. Холодно не было, лучи солнца игриво перемигивались в лужах и в снегу, что чах по обочинам сельской дороги. Она и двое любимых людей – папа и Валентин, что еще нужно ей, простой и доброй девушке, которая любила все и улыбалась всему на свете, кроме горя. И пусть отец не до конца одобрял ее выбор, это ведь все временно, он привыкнет. Марья мечтала, чтобы Валентин научил папу играть в шахматы, он был по этой части большой мастер, выигравший однажды даже районные соревнования. Ну а папа научит Валентина петь матерные частушки, играть на гармошке и слушать истории про войну. Вот так они и полюбят друг друга, а она, Марья, будет жить рядом и дарить им свою любовь.

– Эй, зять-за ухо взять, ну и где тут холод? Можно хоть уснуть тут – и не замерзнешь, да? – Степан по-свойски, в шутку, прикрикнул на Валентина, обернувшись на него скособоченным носом.

Валентину оставалось только шутить в ответ:

– Да ты где хочешь уснешь! Военный человек, привыкший к лишениям…

– К лишениям, – ворчливо передразнил Степан, – слова-то у тебя какие. К лишениям… Хех… Я посмотрел бы… к лишениям!

Мало-помалу село стало редеть. Расстояния между домами становились все больше, домики попадались все реже. Уже показался вдали малиновый горизонт поля, усыпанный искрящейся мартовской   
карамелью. Степана манило туда, словно в синеву холодной реки по окончании очередной атаки, после которой в глазах, в носу, во рту лишь черная горькая пыль и красная соль из покусанных губ.

Обычно Степан побаивался себя веселого, это могло завеселить совсем не туда: к битым глазам жены, к топору, на половину лезвия ушедшему в ступеньку соседа Митяя, к плачущим и визжащим детям, скачущим, словно недобитые цыплята, от стенки к стенке, от лавки к печке. Нет, сегодня веселье громыхало внутри по-другому: старшую дочку замуж – великое дело! А впереди теплое малиновое мерцание, долгая дорога в разговорах, где он, фронтовик, будет важничать, рассказывая о том о сем; впереди долгожданные встречи с двоюродными, троюродными, с их соседями, друзьями и просто первыми встречными: с ведрами и без, с папиросами и самокрутками, с усами, морщинами и светлым добром в приветствиях. Только в таком настроении Степан постепенно забывал войну, хотя с тех, осевших седой пылью на волосах, пор прошло уж почти двадцать лет.

– Смотрите, колодец совсем набок завалился, – сказал Валентин, чтобы что-то сказать, и метнул руку влево, показывая. Этот покосившийся колодец и был границей между селом и полем.

Полем эту местность называли из-за ее пустынности. Неглубокие овраги чередовались здесь с березовыми перелесками, кое-где, сбившись в кучу, шептались на ветру кривые сосенки, а на равнинах растопырил стебли боярышник и шиповник; местами попадались дикие яблони, колючие терны. Сейчас растительность походила на тощие черные скелеты, удерживаемые от падения лишь ударами ветра, который налетал, казалось, даже из-под земли.

Постепенно снег вокруг вырос неровным настилом, переходящим в серые булыжники, меж которых застыла, готовясь перейти в ледяное качество, загустевшая вода. Марья с грустью подумала, что ее войлочные сапоги тут совсем некстати. Она мысленно ругала себя, что не надела резиновые.

Степан шел впереди, за ним будущий зять, потом Марья. Валентин начал орать частушки, то и дело поскальзываясь, но выдавая это за игру. Ветер разбрасывал матерные слова по сторонам, они оседали на воду, снег и торчащие тут и там стебли.

– Вот шут, а? – выкрикнул Валентин, выдергивая ногу из обледенелой травы. – Ведь посмотрел, куда наступить…

Марья запричитала, отец засмеялся с подколкой:

– Ты смотри, дружок мой. Идти еще далеко, а ты ноги мочить. Женилка как бы не простыла…

– Будет тебе, отец, насмехаться… Сам смотри не влезь куда не надо.

Марья улыбнулась. Валентин впервые назвал ее папу «отец». И хотя она начинала подмерзать, ей сделалось сладко и радостно.

– Вишь как… отец… – пробубнил Степан. Никто этого не слышал.

Шли по равнине. И поначалу из замерзающей мартовской каши под ногами выделялась узкая тропинка. Валентина злило, что одна нога у него промокла, он страшно боялся заболеть. Не скрывая раздражения от жены и нового отца, он осведомил:

– Смотрите-ка, то все розовое было, искрилось-серебрилось, а то посерело… В одну минуту. Да и холоднее стало вроде…

Марья знала, что Валентин панически боится болезней и докторов, и постаралась перевести тему на то, что в войну еще не в такую даль ходили. Ее отцу лишь того и надо было. Он зашагал бодрее, распрямился, разухабился, стал рассказывать, как они с товарищами совершали бросок через лес, за которым притаился фашист, как вязли в снегу и грязи, как вытирали лица о деревья, потому что руки немели, как лезли через бурелом и катились в овраг, спасаясь от прицельного огня, разбивая глаза и губы о головы и сапоги друг друга. Валентин не хотел все это слушать. Он вдруг осознал, что все рассказы отца невесты о войне – это какая-то бравада, напыщенность и хвастовство. И везде-то он всегда побеждал, и во всех спорах выигрывал, и в бой всегда бежал первым, и взял множество «языков» – ну как такое может быть? Война, а тут одни удачи у человека!

А Степан размахивал руками, словно все, о чем он говорил, случилось не более часа назад:

– Я привел его к командиру. Поставил перед ним, руки держу, чтобы не рыпался. Он там что-то на своем балакает-пережевывает. Я думаю: так тебя в душу, зверина тараканья! Балакаешь еще тут. Пока переводчика привели – он околел прямо у меня на руках. А у меня… Голова гудит, тело трясется… Глазом я шибко ударился, пока катились мы по оврагу. В нем, в глазу, что-то постукивает, потрескивает. Мне моргнуть бы – а боль страшная. Моргнешь – как еще раз кулаком получишь. И смотришь – а все вокруг розовое. Это глаз, левенький мой, все в каком-то розовом свете стал видеть от боли. Такая злость меня тогда взяла. Я стою и сквозь зубы, сквозь боль, сквозь слюни цежу, глядя на мертвяка немецкого: «Волчара… волчара… волчара розовый». И что-то лопнуло внутри, в голове. Один-единственный раз я слезу себе позволил… Может, и она розовой была, кто теперь разберет…

Марья вскрикнула, Степан и Валентин обернулись. Она упала – одно колено в сугробе, другая нога ерзает по льду в поиске опоры. Рейтузы на ней хотя и были шерстяные, но шерсть тонкая. Нога промокла от колена до носочка. Марья виновато улыбнулась, приподнялась, взявшись за руку Валентина, отряхнулась. Отец скомандовал – и все тронулись дальше, в сторону жиденького перелеска, меж стволов которого уже притаились сизые сумерки.

Тропинка разбрелась в разные стороны десятками ложных тропинок –   
длинных проталин. Дальше идти пришлось наугад. Шли под откос, поскальзывались, чертыхались. Под ногами раскалывался застывший остриями вверх снег. Небеса темнели, посыпая поле колючими крошками. Выбираться из лога было сложнее, отец и жених неуклюже помогали Марье – один поддерживал сзади, другой тащил за руку.

– Да ладно, отдохни, Валя. Сам-то не соскочи, я уж дочери-то помогу, – в голосе Степана появилась холодная ирония.

Валентин еле сдержался. От промокшей ноги холод пришел уже в область таза, глаза начали слезиться, замерзли лицо и шея. Да еще этот тут…

– Да ладно, отец, мы и сами справимся, – колко усмехнулся Валентин.

Марья увидела натянувшуюся между ними нить и сразу ее перерезала:

– Да нужны вы мне оба, а? А то я по снегу не ходила. Дойду как-нибудь.

Ноги Марьи незаметно для нее самой промокли окончательно. Холодная жижа внутри чавкала при каждом шаге. Тело постепенно остужалось, от этого одежда стала неудобной. Горло пропиталось холодом и словно бы разбухло.

Несмотря на разухабистое настроение, отец тоже замерзал, Марья это видела. Он то и дело оглядывался по сторонам, пряча прорезанные боковыми морщинами щеки в горлышко свитера, руки засунул   
в карманы куртки, тщательнее выбирал, куда наступать. Валентин заметно нервничал, делая глубокие нервные вдохи.

Дошли до перелеска. Темнота уже не пряталась за деревьями редкого березняка. Напротив, она вышла навстречу, ступая по тонкому льду и насту, заставляя поле скрипеть и постанывать.

Валентин вдруг остановился, схватился за черный ствол:

– Вот зря ты, Марья, меня остановила. Хотел я сказать ему – и сказал бы. Надо нам было у тети Томы оставаться! Куда мы поперлись? Думаешь, он знает, куда идет? Ага, верь! На авось прет.

Марью стегануло по лицу невидимой ледяной плетью. Мысли смешались, накладываясь друг на друга – отец таких выпадов никогда просто так не оставлял. Но Степан спокойно шел вперед, петляя меж стволов, словно и не слышал ничего.

– Ты только посмотри, нора какая огромная. Вроде лисы таких не роют… – Степан остановился аккурат перед спуском в очередной овражек, присел на корточки, рассматривая что-то.

Валентин едко усмехнулся, сказав одной лишь Марье:

– Лисы какие-то… Нашел, о чем сейчас думать.

Марья и Валентин подошли к отцу, опустились на корточки. Тот достал спички, чиркнул, пламя тут же высветило насколько вокруг стало темно. В норе лежал скелет какого-то животного в странно выгнутой позе. Зубы скалились, клоки шерсти, еще оставшиеся на одной лапе, торчали вверх и в стороны, тронутые морозом.

– Конечно, лиса, кто же еще. По болезни свалилась… – сказал спокойно Степан, выбросил пустой спичечный коробок, резко вскочил и обеими руками пихнул Валентина в грудь. Тот кашлянул от неожиданности и покатился под откос, раскидывая вокруг осколки льда и снега.

– Папа! – крикнула Марья, закрыв лицо руками. Зарыдала, кинулась вниз, поскользнулась и тоже покатилась, шурша и хрустя разбиваемой наледью.

Степан спокойно осведомил, удаляясь из поля зрения:

– Нам в другую сторону, вытирайте сопли и выбирайтесь. А то ночевать тут будете.

Марья и Валентин вытирали лица рукавами, из пореза на щеке Валентина сочилась кровь. Марья, всхлипывая, приложила к ней лед.

Валентин только хрипло дышал, скалился то ли от боли, то ли от обиды, глаза его поблескивали в сумерках. Он приговаривал шепотом, чередуя слова со злобными сухими плевками:

– Ну, знаете… Так не пойдет… Так не будет…

Валентин отбросил руку Марьи, рванул наверх, сминая ногами стеб-  
ли полыни. Степан шагал вдали. Валентин рванулся к нему, чтобы толкнуть его, колотить по голове, по спине, по лицу. Валентин зверел, разламывая на бегу крепкие ледяные сугробы с торчащими из них редкими волосами мертвой травы.

– Так не будет… Так не пойдет…

Марью прошило холодом со всех сторон, от верха до низа. Слезы ее обдувал ветер: он словно хотел закатить слезинки ей обратно в глаза. Марья пыталась выбраться из оврага, цепляясь за обледенелые стебли, но руки соскальзывали и холодно саднили.

– Папа… Валя! – зашлась, закашлялась Марья.

Степан обернулся, хмуро улыбаясь. Левый глаз его оказался гораздо меньше, теперь Валентин видел это отчетливо. «Сейчас тебе будут розовые волки», – подумал он, содрогаясь от злости. Друг от друга их отделял только куст боярышника. Валентин пусто смотрел в глаза новоявленного отца, грел руки дыханием, сопел и играл скулами. Степан хмыкнул, повернулся и пошел вперед.

– За мной, поскребыши, – буркнул он, сплюнув против ветра.

Валентин рванулся прямо через скелет боярышника; суставы куста затрещали, ребра переломились, хрустнув промерзшим деревом, осколки их посыпались в снег. Марья закричала, выбравшись из лога:

– Валя! Валя-я! Да что ж вы… Иисусе-боже!

Валентин всем телом ударил Степана в спину. Оба повалились в ледяную грязь. Они то нюхали землю, то шипели, то переваливались с груди на спину, то катились, словно слепленное из двух людей колесо; кто-то из них вдруг вскрикивал, кто-то натужно пыхтел, кто-то кашлянул, кто-то брызнул кровью на обломанный стебель цикория. Марья, обезумев, не понимала, что делать: то ли дуть на окровавленные ладони, то ли спасать отца и жениха друг от друга. Она, хлопая ледяными ресницами, прихрамывая, бежала к пыхтящему комку. Комок катился от нее, отхаркиваясь, хрипло ругаясь и хрюкая. И Марья вдруг неуместно вспомнила свой сон, глядя на это смертоносное движение. Заходит она к двоюродной сестре Нюрке в избу. А у Нюрки почему-то живет ее, Марьина, мать. И смотрит Марья – по всей избе яблоки разбросаны. Крупные, сочные штрифели. Ни мама, ни другие (а людей в доме много, но все они нечеткие во сне) их не замечает. Ходят, говорят, смеются, а штрифели лежат на полу, на подоконниках, на лавках, около печи, на столе, под дверью. Вот и сейчас ей привиделись эти яблоки, разбросанные по снегу и льду; вот они катаются, краснобокие, туда и сюда по всему полю, несутся, подпрыгивая, по склонам оврагов и рвов… Марья зажмурилась, и яблоки понеслись у нее перед глазами, расплываясь и улетая в бескрайний черный космос, что притаился под ее охолодевшими веками.

Но по правде катался только живой комок, объятый холодом снаружи, но внутри себя пылающий. Опьяняющая внутренняя сила толкнула Марью вперед, и она рванулась к дерущимся.

– Па… Вал… да что… вы! Па-ап… – слова путались, осыпаясь с губ.

Они расцепились. Валентин сидел на коленях, едва дыша. Под носом кровь, губы в крови. Марья кинулась к нему, но жених грубо отпихнул ее, она отшатнулась, почему-то улыбнувшись. Кинулась к отцу, но он сплюнул, процедив:

– Иди женишка своего успокаивай. Я таких, как вы… – он не договорил.

Степан пнул комок снега, взял ледышку, приложил ко лбу и пошел во тьму.

Валентин, усмехаясь, приговаривал, поднимаясь с колен:

– Я не знаю, Машка, как мы жить с ним будем… А? Так не пойдет… Так не будет, Машка.

Марья и Валентин пошли на звук удаляющихся шагов отца. Его уже не было видно в морозной темноте.

Марья тоже не знала. Как? Каким же способом соединить вспыльчивого отца и мнительного, болезненного жениха в одной семье? Она сразу почувствовала, она знала, что между ними рано или поздно вспыхнет. И вот вспыхнуло. В самый неподходящий момент.

– Я не знаю, куда дальше идти, – спокойно, словно так и должно быть, крикнул им Степан издалека.

Зацепившись носком за кочку, Марья упала и чуть проехала по льду, исколов еще больше и так саднящие ладони.

– Господи, Иисусе Христе, что же мы тетю Тому не послушали… – заплакала она, опираясь на руку жениха, чтобы встать.

Валентину не хотелось видеть Степана, разговаривать с ним, идти рядом, но его мнительность и страх взяли верх. Он сказал примирительно:

– Отец… ты это… ты не дури, отец. Ты тут сызмальства ходил… Давай, ночь уже, холод… Надо идти, отец. Так не пойдет…

Не успели они подойти к тоненькому деревцу терна, под которым сидел Степан, как он взвился, вскочил с места так резко, что аж подпрыгнул. Он схватил Валентина за горло, прижал его к стволу, стал душить, приговаривая:

– Я тебе не отец, щегол крикливый… Не отец я тебе… Волчара голодный отец тебе, а не я…

От ног Марьи к голове и обратно прошла колкая холодная волна, больно царапнув душу. Страх повалил ее на колени, в них что-то больно впилось, но она не замечала. Марья с равнодушием ощущала, как подступает к ней что-то иное, доселе неведомое, темное. Да, оно тут, в овраге, за стволом терна, в колючем снегу, в морозе. В стуке катящихся по темным пустым оврагам яблок…

Отец и Валентин снова повалились, покатились, зашаркали ногами по льду. И снова хрипы, снова стоны, снова черные сгустки крови, повисающие на редких кустах и стеблях. Марье казалось, что все пространство, коричневые облака, несущиеся в черных небесах, все катается, прыгает. Вся природа вертится через голову. Она зарыдала, выдавливая лишь бессильное:

– Па-а-па… Ва-а-ля…

– Так не пойдет… – хрипел в исковерканное лицо противника Валентин.

– А сучий ты… хуже фрица, куда мужики не бьют – бьешь… – зло похихикивал Степан.

Они то и дело ударялись в своем извилистом кружении о ствол терна, и он, жалкий и беспомощный в это время года вздрагивал, словно рыдал вместе с Марьей.

Марья, уже ничего не понимая, металась туда и сюда, разбрасывая слезы по сторонам. От страха она забыла время и место. Она рыдала, кашляла, сопела, выла. Отец и жених на секунду разлетелись друг от друга, как половинки гнилой тыквы. Марья заметалась, вытянув руки, от одного к другому, словно не могла решить, кто дороже, кого жальче, кого спасать в первую очередь. Они ее совсем не замечали. Лишь глядя в злые глаза друг друга, снова сходились, покачиваясь и спотыкаясь.

– Скотененок… – Степан сплюнул, слюна зашипела, показалось Марье.

Валентин еле слышно постанывал, разминал окровавленные пальцы.

Кинулись друг на друга как по команде. Стали валяться и хрипели уже тяжелее. Марья почувствовала, как сердце ее оторвалось от каких-то внутренних стенок и покатилось по кругу, словно яблочко по блюдечку. В глазах у нее завибрировало, воздух начал потрескивать, отец и жених, кажется, покатились в овраг, но шарканье, прерывистое дыхание и скулящий вой не прекратились. Нет, они не упали, вот же они, вот скребут их лапы стеклянный наст, вот бьются они телами друг о друга, капает бешеная слюна, кроваво-желтым огнем пробивают ночь круглые злые глаза, пасть кусает пасть, зуб ломает зуб, лоб ударяется в лоб, клык кусает шею, бока, лапы и уши, кровь пузырится на снегу.

Марья почувствовала, как теплая струя мягко оплела одеревенелые ноги.

– В-волки! – то ли крикнула хрипло, то ли хрипло подумала.

Она не могла понять, сколько их было. Казалось, один выпрыгивал из второго, второй вырастал из третьего, чтобы тут же и так же непостижимо раствориться в четвертом – бесконечная, кишащая волчья матрешка. Они рвали друг друга, не обращая внимания на застывшую в заторможенном ужасе Марью. Волчий клубок обнимало еле заметное мерцание, словно розовое северное сияние. Марья подняла глаза к небу. Оттуда надвигалось гигантское темно-розовое облако, резко контрастирующее с окружающей тьмой. Облако неслось прямо на нее, внутри него перемигивались тонкие электрические разряды. В ушах Марьи заухало, застучало, волчий рык и шарканье рядом не прекращались. Все в ней натянулось. Захотелось кашлянуть, но она знала: от кашля ее просто разорвет на мелкие ледяные куски. Волки продолжали рычать, но теперь Марья различала в их рыке человеческие слова – бранные, ужасающие, сотрясающие все ее естество. Чем ближе опускалось страшное розовое облако, тем громче бранились волки, перекрикивая друг друга, словно охрипшие от тысячелетней ругани бесы. Слова их становились все отчетливее и доходчивее, пока не пре-  
вратились в работающие наотмашь молоты внутри головы Марьи…

…какой-то далекий возглас, и вот, всклоченный, огромный розовый волк в замедленном действии ставит лапы победителя на лицо Марьи, облизывается, победоносно воет.

Удар. Сполох. Салют сполохов. И все застелило розовое.

– Марья, детка, девочка…

Она открыла глаза. Отец и Валентин, отекшие, с разбитыми губами, носами и лбами, страшные, еле живые, склонились над ней; один укрывал ее, другой теребил за щеки. Оба тряслись от холода, а ей уже было все равно, она ощущала лишь обрывки собственного дыхания – чужие, далекие.

– Волки… – прошептала Марья.

Отец, улыбаясь сквозь боль, словно пытаясь развеселить, ответил:

– Да что ты, господь с тобой. Волков в этих местах отродясь не было. А то ты сама не знаешь… Не бойся ничего, отец рядом…

– Отец, это, слава богу… – Марья услышала в голосе жениха нотки, которые звучали в самом начале пути – уважение, почтение, признание отца мудрецом, – … цела она, здорова… Давай я ее понесу, слабая совсем… Вишь, от наших с тобой выкрутасов… совсем обмякла… Отдыхать ей надо.

Марья сладко улыбнулась, тихо выдохнула и быстро заснула.

Отец шел впереди, показывая дорогу.

– Ничего, сейчас дойдем, спать ее под пять одеял уложим. И сами с тобой, зятек, под пять ляжем, но для начала по сто пятьдесят мутной – точно? – шутил отец.

– Сказал так сказал! А то свалюсь не хуже невесты… Ох и прогулочка вышла…

И они шли, сопя и пошатываясь, покашливая, с каждым шагом становясь все роднее друг другу. Марья спала на спине жениха, щеки ее разрумянились, губы подрагивали в начинающейся лихорадке.

Тропинка становилась все отчетливее, все шире.

Розово-эфирный, невесомый, как бледное облачко занимался рассвет, перемешиваясь с дымом остывающих под утро труб уже совсем близкого Волчьего.